

Впечатления

Блок 7

№ 127

Пятница, 8 июля, 1994

Майя Плисецкая

ДАЧА И СРЕТЕНКА

Много книг начинается с рассуждений, когда кто себя помнит. Кто раньше, кто позже. Искать ли другое начало?..

Ходить я стала в восемь месяцев. Этого сама не помню. Но многочисленная родня шумно дивилась моим ранним двигательным способностям. От этого удивления и началось мое самопознание.

Бабушка моя умерла летом 1929 года. Угасание ее я помню очень отчетливо и ясно. Семья наша снимала в Подмоскovie дачу. И бабушка, уже восковая и осунувшаяся, полуголая перед домом. Ее взяла лечить врач-китаец. Он приходил в широкополой пиратской черной шляпе и делал бабушке какие-то таинственные пассы.

Тем летом небо послало мне свой первый балетный меседж. За дощатым, местами склоненным к густой траве забором стояла заколоченная темная дача. Она принадлежала танцовщице Михаилу Мордкину, партнеру Анны Павловой. К тому памятному лету он сам уже перебрался на Запад. А его сестра, жившая в маленькой сторожке, караулила дачу и разводила пахучие российские цветы. Их дурманящий запах сознание мое удерживает и поныне.

Я была ребенком своевольным, нескупым, как все меня обзывали. Спустила по течению ручейка свои первые сандалики. Вместо корабиков, которые усмотрела на старинной почтовой открытке. Мама долго убивалась. Достать детские туфельки было задачей неразрешимой. Иди, побегай по всей Москве. «Трудное время, трудное время», — причитала мама. Так и слышу с тех пор по сей день — трудное время, трудное время. Бедная моя Родина!..

С канцелярской кнопкой доиграюсь до того, что она застряла в моем детском носу накрепко. Мама возила меня на телеге с говорливым мужиком к сельскому лекару. Тот молниеносно принес мне облегчение.

Не терпела любовобильных родственников, трепавших меня, словно сговорившись, за правую щеку. Все натужно умилявшихся, что я так подросла с нашей последней встречи. И еще не любила или спать и наильно есть молочную лапшу, которой все те же родственники пичкали меня, приговаривая, чтобы росла крепкой. Однажды накармили до рвоты. С тех пор при слове «молочная лапша» меня охватывает озноб.

В Москве мы жили на Сретенке, двадцать три, квартира три, на третьем, последнем этаже. Одни тройки. Это была квартира моего деду Михаила Борисовича Мессерера, зубного врача. В ней было восемь комнат. Они следовали одна за другой, и все смотрели немытыми окнами на Рождественский бульвар. С другой стороны помещался узкий коридор, упиравшийся в пахучую кухню, выходящую единственной окном в замызганный, заставленный фанерными ящиками двор. Все комнаты распределялись между взрослыми уже дедушкиными детьми. Лишь в самой последней обитал пианист-виртуоз Александр Цфасман. Он окончил Московскую консерваторию с медалью, но, помещавшись на медалью, но, помещавшись в входившем тогда в моду джазе, пустил классику лобком. Цфасман был большой любитель, говоря по Гоголю, «насчет клубнички». Всегда через длинный коридор пробирался к нему обожавшие его девчонки. Тому способствовал коридорный полумрак с единственным источником света — засиженной мушкетером лампочкой без абажура под потрескавшимся потолком — лампочкой Ильича.

Я, неприкаянная, бродила по коридору и наткнулась на девяти-визитер. Чтобы ребенок не выдал тайны, сосед вступал со мной в пригласительный диалог: «Майечка, кто тебе нравится больше — черненькая или беленькая?» «Беленькая, белень-

кая», — без раздумий определяла я. Всегда предпочитала я светловолосых.

Первым от лестницы был дедушкин зубной кабинет. Холодный, с кривыми половыми. Чуть накренившись, стоял ветхий, застекленный шкаф с врачебным инструментом. И главное действующее лицо — бор-машинка. Склонившись над развернутым ртом посетителя, дед усердно жал ногой на стертую металлическую педаль. Она крутила колесо ремнем, который ежеминутно соскакивал. Ссанс прерывался.

Кабинет украшал чутунный Наполеон на коне. Для торжества момента. Знай, болезный, мы все не вечны. На стене висела большая цветная застекленная гравюра, изображавшая голову женщины с тяжелым пучком на затылке. У беленькой женщины была открыта шека, и зрительно отрывались все 32 зуба плюс внутренняя анатомия лица до самого уха. Это был сюрреализм, говоря нынешним языком, достойный кисти великого испанца Сальвадора Дали. Что-то очень похожее видела я несколько лет назад в южном испанском городке Фигерас, где высится яичными скорлупами в небо музей Дали. Возле этого города он родился. А тогда я и не предполагала о скандальном художнике, а просто болтала одной оставаться в дедушкином кабинете.

Ванной в квартире не было. Точнее, была, но не для мытья. Там расположилась няня Варя с могучим усатым мужем Кузьмой дворником нашего дома. Мыться всегда было проблемой. Воду долго, нудно грели на керосинке и примусе до подходящей температуры. Кран на кухне был какой-то разлапастый, и из него на всю кухню летели ледяные брызги. Чтобы усмирить кран, поставили облупившуюся эмальную доску с надписью: «Зубной врач Мессерер солдаты бесплатно». Доску эту принесли с улицы. Она красовалась у входной двери еще с войны 1914 года.

Еще одна деталь дедушкиной квартиры, запавшая в мой мозг. Рядом с кабинетом, в соседней комнате, висела в темно-вишневой деревянной раме неумелая копия знаменитой картины «Княжна Тараканова». Из тюремного окна хлестала вода, и мечущиеся мыши бежали по кровати, на которой в красивой театральном позе, в бархатном декольтированном платье стояла княжна. Она была в полуобморочном состоянии, с распухшими на печи волосами. Этой картины я тоже боялась. И княжна было очень жалко.

В тяжелейшее для себя время, когда КГБ додумался зачислить меня в английские шпионы и оперативная машина с тремя добрыми молодцами колесила за мной по Москве и стояла ночами под окнами в Щепкинском — все двадцать четыре часа в сутки, — я вспоминала эту картину. Бедную княжну Тараканову. В бессильном отчаянии, боли от абсурда, лжи, полноты, идиллической я хотела станцевать такой балет. Излить горечь свою людям.

Многими годами позже я говорила Ролану Пети о своих мучительных мечтах.

МЕНЯ РИСУЕТ МАРК ШАГАЛ

— Это первая позиция? — Нет, это вторая.

— А какая же первая? Показываю Шагалу первую балетную позицию.

— Я тоже могу так встать.

Марк Захарович выворачивает ноги, но устоять в противовес, тесноватом для своего тела положении — не может. Спотыкается.

— Кельке шез. А что еще нужно танцору?

— Еще нужен высокий подъем.

— А у меня подъем высокий?

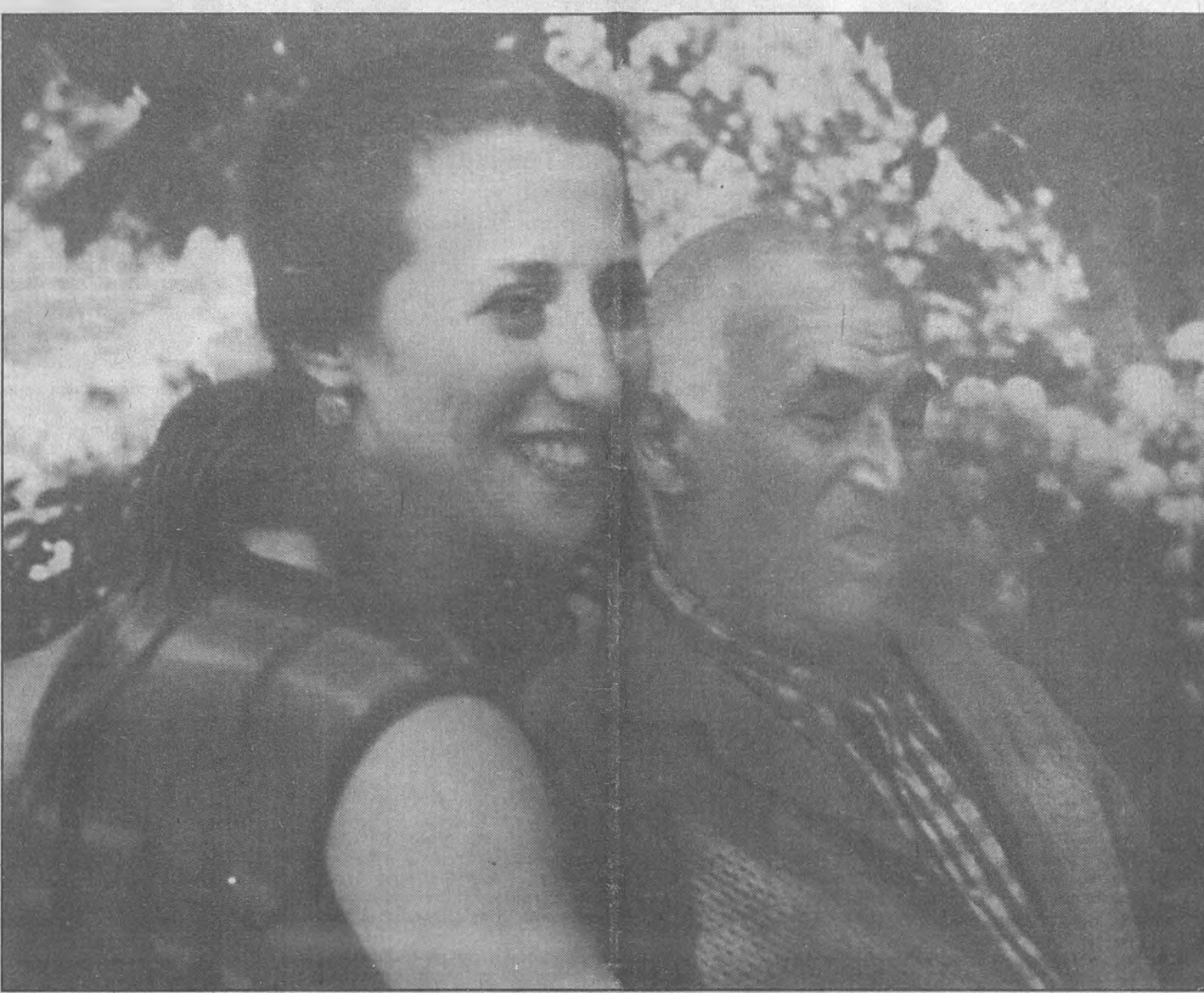
Сняв ботинок и засучив часовую брочку, Шагал демонстрирует свою ступню.

— Ну что ж, меньше, чем у Анны Павловой, но... годится.

Вава Шагал, жена художника, в просторечии Валентина Григорьевна, увещевает:

— Поздно тебе, Маркуша, а балет иди. Рисуйешь ты лучше. Пусть уж Майя танцует.

Шагала жадно интересуется все.



ПЛИСЕЦКАЯ И ШАГАЛ

Я, Майя Плисецкая

Художник любит выспрашивать своих визитеров. Так же дотошно рассуждает он с Шедриным о флейтах, скрипичных клочках, дирижерах...

Наш разговор происходит в Сан-Поль де Ванс на юге Франции. Расположились мы в буфетном цветущем саду под сенью апельсинового дерева. Плоды лаково-яркие, крупные. Но им еще зреть. Теперь лишь пик лета. Июль.

Вава приглашает чаевничать в дом. На календаре в прихожей — 1965 год.

Привезла нас к Шагалу на своем ревущем «понтяке», лихо подпрыгивая виражи узких приморских шоссе, Надя Леже.

Родилась Надя в белорусской деревенке Зембино. Бежала, босоногая, в прихолоскую школу, после коров. Тогда еще не Надя Лежа, а смуглая паненка Надежда Ходасевич, с торжественно хвостом-косичками. Почувя в себе интерес к рисованию, паненка пешком отправилась в Варшаву. Проглуку совершила она в 1927 году, когда по крестьянским тропам еще можно было добрести из страны в страну. А оттуда в Париж. Сведения полки разсыпались, что живописи учиться надо у французцев, в Париже.

Вместе с молодым красавцем-живописцем Жоржем Бокке, за которого она без раздумий тотчас выходит замуж, посещает студию Фернана Леже.

Как и положено французскому мотру кисти, Фернан Леже сразу устремляет свой наметанный пожуристый взгляд на ладную, тонкоталую фигуру молодой славянки с выработанными, выпуклыми икрами. У Нади чуть монголообразный овал лица, туго затянутые в пучок волосы и лихитный — уточкою — носик. Такой ее изобразил Леже на множестве своих полотен.

В Варшаве Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В Париже Надя, как уверяла меня, успела познаться «супрематизм» у Казимира Малевича и... «пройти курс в балетной студии». Последнее оставило на ее совести, ибо по широкой славянской душе любила дофантазировать свою жизнь, рассказав балерине, что была балеринной тоже, хирургу, что ей приходилось вырезать больному аппендицит, летчику, что неплохо владеет штурвалом.

В издательстве «Новости» готовится к изданию книга «Я, Майя Плисецкая», написанная знаменитой балериной о своей жизни. Предлагаем вниманию читателя главы из этой книги.

Надежда Ходасевич-Бокке становится мамой Надя Леже.

Что за мистическая сила влегла французских, испанских художников к русским женщинам? Пикассо — Хохлова, Сальвадор Дали — Галля...

Познакомилась я с Надей у Арагонов, еще в свой первый приезд во французскую столицу. Когда Арагоны к ужину ждали, то Эльза, составляя меню, обязательно включала в него вареную курицу. Служанка Мария покорно шла в кухню. Без вареной курицы белорусский желудок оставался голодным. Если Дали пропала визит, то Эльза говорила:

— Мы не виделись с Надей «одну курицу».

Курица была мерилем встреч. Той весной Надя — она, как и Фернан Леже, была отголоском коммунисткой (расстрел в 37-м году родного брата за сестрины путешествия по Польше и Франции не излечил Надю от коммунистического вируса) — прислала нас с Родионом гостевые приглашения. Адресовала их она министру культуры Фурцовой, и та, испросив везде, где положено, советов и разрешений, благословила нас на тридцатидневный приватный визит. «Под ответственность Наде Леже». Наши власти доверяли коммунистическому семейству Леже. Надя была участницей французского Сопротивления, заказанным другом советского посла — и нас выпустили. Вплоть до середины восьмидесятых годов это была самая вольная наша поездка.

Помимо дружбы Леже и Шагала Надю сблизжали с Марком Захаровичем белорусские корни. От Витебска до Зембино — рукой подать. То, что мой отец был ролен из Белоруссии, приводило Шагала в восторг.

В октябре 1961-го Шагала моих выступлений не видели — они теперь редкие гости в своей парижской квартире, — но слухи доносили доброе обо мне. Благосклонная французская пресса о моих танцах им на глаза попала.

За столом Вава замечает, что Шагала сегодня работает меньше обычного, ленится.

— На него это мало похоже, больше, чем на час, Маркуша от работы не отрывается, что бы к нам ни приехал.

— Вот ты и ошиблась. Я работаю сегодня целый день. Подкрашиваю к балету...

Я знала, что Шагала писал декорации к балетам Баланчина, Лифаря, Скибины. Макет «Даниса и Хлои» видела в иллюстрациях балетных словарей.

— Как подкрашиваетесь? Я не понимаю...

Шагала рассказывает, что работает сейчас над панно для нового «Метрополитена» в Нью-Йорке. Это — как продолжение его панно для «Гранд-опера», который он сделал в 1963-м по заказу Андре Мальро.

— У меня там будут разные искусства, звери, музы... И ба-

лет. Что, если вы, Майя, покажете мне несколько движений?..

— Попозировать? Шагала? Извольте...

Мы поднимаемся на второй этаж. Позднее для этой цели художнику пристроили лифт — грыва доминала. Шедрин и Надя остаются с Вавой.

— Мы вас позвем.

Просторная светлая мастерская. Ничего отличного от других мастерских, в которых я бывала. Холсты на подрамниках, составленные в ряды. Брызги красок. Книги на полу. Лоскутки разноцветных материй. Замасленные кисти.

— Какая поза вас интересует, Марк Захарович? Может, арабеск? Или аттитюд?

— Мне хотелось бы видеть движение. Самое простое. И, пожалуйста, распушите волосы...

Начинаю незаметливо импровизировать. Делаю несколько пор-де-бра. Затем скидываю туфли и босиком, на высоких полупальцах, прохожусь в па-де-буре. Повернулась вокруг себя. Фиксирую позы.

Шагала набрасывает угольком быстрые линии на ватман. Глаз его хищно прищурен. Как у целешего охотника. Рот приоткрыт. Что он рисует, мне неизвестно. Сквозь мольберт не подсмотришь. Красешком взгляда слежу за маршрутами его артистичной, легкой руки. Она мягко ведет свой танец. Рука залунывается. Я останавливаюсь.

— Пресно без музыки. Я очень склавана. Это у вас не радио, Марк Захарович?

Шагала не отвечает. Отстранен.

— Если это радио, Марк Захарович, давайте изловим какую-нибудь мелодию...

— Простите. Что вы сказали? — Включим радио. Мне будет легче...

Шагала ведет поиск годной музыки по стациям. Перебирает черное заурченное колесико транзистора. Одна французская речь. Как понарошку. Или отрывки коммерческого джаза, сопровождающего рекламу. Опять речь. Последние новости...

И вдруг эглетическая нежная мелодия. Скрипка с оркестром. «Печаль моя светла», — приходит в голову пушкинская строка. Теперь моя импровизация осмысленна и поэтична. Как помагает мне музыка!

Я танцую. Шагала без единого слова делает наброски. Мы оба увлечены...

Сколько это длится — не знаю. Вдруг Шагала прерывает молчание.

— Какая замечательная музыка. Что это? Чье?

Я прекращаю танец и говорю, что музыка мне тоже незнакома.

— Позовите Шедрина, может, он знает...

Зову Родиона.

Это концерт Мендельсона. Отличная запись. Кто играет? После конца должны объявить. Диктор называет имя Менухина. Весной 1991 года, приехав

в Лондон по приглашению мастера на его юбилейный концерт, где Менухин дирижировал и числе других и новое сочинение Шедрина. Я рассказываю о своем танце пол его записи в мастерской Шагала. Как непредсказуемые и замысловатые таинства человеческих встреч и пересечений.

Шагала просит исполнить еще несколько поз. Самых, как он говорит, классических. Я выполняю его желание.

— Знаете, ваш танец пол концерт Мендельсона был прелестен. Вот бы могла кисть передать, что вылит глаз. А может, лучше, что не может?..

Слушать Шагала интересно. Мысль свою он излагает с библейской размеренностью.

Шагала рассказывает о своей юности, о родном Витебске. Как комиссарил, ходил в галифе и кожанке, раскрашивал мостовые, стены домов. Рассказывает, что увлечен был идеями мировой революции.

— Да разве я один? Фернан, — он поворачивается к Наде, — обратился к первому советскому правительству с письмом, в котором предлагал одеть по его рисункам всю советскую страну в веселые, цветастые рубы-прозодежды. Если труд — праздник, и одежки должны быть нарядными. Он не просил за это ни одного сента. Потом Шенберг собрался бесплатно учить всех музыке. Корбюзе желал построить в России солнечные города. Им, я слышал, даже не ответил. А я пришел к секретарю губкома в Витебске и сказал, что нам нужен музей. Нам нужен не музей, а мост, товарищ Шагала, объявил в ответ тот. Вот я и уехал. Вот я и здесь, в Вансе.

Я ненавижу мемуаристов-лгунишек, которым по необъяснимой причине едва знакомые пункты начинают исповедоваться, изливая душу. И произносят длинные монологи, словно наговоренные на скрытый магнитофон. Мне записаны в дневнике лишь контуры тем, затронутых в тот жаркий июльский шагаловский день. Позже мне довелось немалое количество раз еще встретиться с Марком Захаровичем и Вавой — в Нью-Йорке и в Москве, в Париже и снова в Вансе... Увидели они мой настоящий танец на настоящей сцене. Но так обезоруживающе откровенен Шагала был лишь в день нашей первой встречи.

Повторю, на календаре стоял 1963 год, железный занавес только сдвинулся с места, и мы с Шедриным были одними из самых первых вестников того, что мир начинает меняться. Меняться к лучшему. И Шагала должно было быть интересно общение на родном языке с балериной и музыкантом, у которых не французские, а советские паспорта. Через несколько дней, он знал, им надлежит вернуться домой, в Россию...

Лишь когда за окнами опускается густая южная темь, мы начинаем собираться к отъезду. Шагала предлагает нам заночевать. Но мы обеимали — еще засветло — вернуться в Надин уютный дом в Калье, где нас нетерпеливо поджидают художник Жорж Бокке, снова ставший Надиным мужем после кончины Фернана Леже, предупредительные слуги-коммунисты, утробная

овчарка Ватан и разбойный кот Коклико.

Еще раз оглядываем светлые стены, на которых полыхают сокровища — картины Шагала от самых ранних до нынешних. Плынут над городом рыбы, в небесах парят коровы, деревенские скрипачи с тоской выволят витебские пассажи, хмельно крепятся избушки, в немилых поцелуях сливаются вечные любовники. Мы, завороженные, задерживаемся у изображения беременной розовой лошади с жеребенком во чреве, впряженной в телегу, на которой лихо восседает мужик с кнутом, в картузе.

— Вот и я ходил в таком картузе, — усмеяется Марк Захарович.

Шагала дарит нам свои авторские литографии. Массивную академическую монографию, которую вольно и поперек щедро расписывает цветными фломастерами: «Майя, Родиону... память... с любовью... Ванс... Марк Шагала...» И ранние керамические изделия.